

Константин Николаевич Леонтьев

Благодарность



Константин Николаевич Леонтьев

Благодарность

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7608095

Аннотация

«Жил в одном губернском городе очень добрый учитель немецкого языка, Федор Федорович Ангст. Ангсту было сорок семь лет, и он был холост. Всем известно, что немец осторожен и сбережет себя на чорный день скорее, нежели кто-нибудь из прочих наций. Если б не легкая проседь в светло-каштановых волосах его, многие дали бы ему только тридцать семь лет. Но свежая наружность его была дряхла сравнительно с его сердцем. Такое сердце вряд ли часто придется сохранить и быстрому французу, и итальянцу, у которого, говорят, огонь горит в жилах. Сам я не видал итальянцев...»

Содержание

I	4
II	15
III	24
IV	32
V	42
VI	51
VII	64

Константин Леонтьев

Благодарность

I

Жил в одном губернском городе очень добрый учитель немецкого языка, Федор Федорович Ангст. Ангсту было сорок семь лет, и он был холост. Всем известно, что немец осторожен и сбережет себя на чорный день скорее, нежели кто-нибудь из прочих наций. Если б не легкая проседь в светло-каштановых волосах его, многие дали бы ему только тридцать семь лет. Но свежая наружность его была дряхла сравнительно с его сердцем. Такое сердце вряд ли часто придется сохранить и быстрому французу, и итальянцу, у которого, говорят, огонь горит в жилах. Сам я не видал итальянцев.

Последнее время Федор Федорович оставил казенную квартиру, которую давала ему гимназия за то, что, кроме должности учителя, он правил еще и надзирательскую должность, — и поселился в своем коричневом домике, купленном за полторы тысячи серебром.

Эти деньги были частью того капитала, который получил он в наследство от старшего брата, скончавшегося в Гамбурге. Многие советовали Федору Федоровичу пустить эти

деньги в обороты; другие уговаривали ехать в Москву и предпринять там преподавание в самых широких размерах, завести пансион, или что-нибудь в этом роде.

Федор Федорович упорно отстаивал свое мнение и находил лучшим просто положить капитал в ломбард, купив на некоторую сумму домик.

«И притом, – возражал он, потряхивая слегка правою ногой, – я так люблю этот город: я в нем жил пятнадцать лет!»

И эти слова говорил он всякому, хотя только немногие могли запомнить то время, когда Федора Федоровича еще не было в городе.

Один небогатый помещик, давным-давно совсем обрусевший лифляндец, который хорошо знал и любил Федора Федоровича, потому что коротким с ним людям нельзя было его не любить, сказал ему раз, убеждая его ехать в Москву, «что это он все пустяки возражает!» И прервав свою озабоченную ходьбу по комнате, вдруг остановился перед ним и вскрикнул ему почти в ухо: «Ты можешь быть профессором, чорт возьми!» Потом, слегка ткнув его концом чубука в грудь и откинувшись назад, посмотрел на него такими страшными глазами, что Ангст испугался. Федор Федорович поколебался, несмотря на всю твердость своего характера: так опасны для человека отвсюду сыплющиеся и громящие мнения и соблазны! Наконец личные убеждения взяли верх над всем, и он остался. Самый лучший из его приятелей, русский старый чиновник, похвалил тогда его решение следую-

щими словами:

– Так-то, брат, лучше. Доживай-ко с нами... или хоть до моей смерти побудь... Оно лучше, знаешь, у нас теплее; как-ково ни на есть, а все теплее... Это так! Да и метода твоя устарела... Куда тебе в столицу, там все молодежь, небось... забидит тебя вконец. А здесь и уроков у тебя с каждым годом все больше и больше... Теперь, если б ты был женат и за женой еще капиталец взял, так вместе с своим отчего ж бы пансион не затеять, хоть здесь, хоть в Москве... а то ведь метода твоя устарела!

После я вам скажу, отчего старый Васильев так желал, чтоб Федор Федорович остался.

Что касается до Ангста, то он долго думал, зачем Николай Николаевич дерзко отзывался об его методе. «Чем же моя метода, – говорил он, – устарела?»

Но способность задумываться по целым дням лежала в натуре Федора Федоровича.

В нем было много странностей.

Домик был очень удобен. Все было близко от него: и учебное заведение, при котором он состоял, и рынок, и лавки, и самый частный пансион, где было самое доходное место Федора Федоровича. Но местоположение его было грустно, на конце глухого переулка, упировавшегося в крутой берег огромной лощины, где со всех сторон сближались огороды соседних мещан и купцов; за лощиной на далекое пространство громоздились перед глазами крыши лачужек и домов: только

местами темная масса их разнообразилась или светло-зеленою крышей, или группой древесных верхушек, поднимавшихся с какого-нибудь палисадника, или наконец колокольней, то новою, с сверкающим шаром наверху и крестом, то живописно-дряхлою, покрытою мелкими окошечками.

Стены дома были темно-оранжевые, ставни белые. На этом цвете стен, удобном для грунта, резко выступали разные растения и кустики палисадника, разведенного недавно самим немцем, придавая необыкновенно пестрый вид и без того яркому домику. Самые мальвы, такие грубые вблизи, были очень кстати с своими теньвыми цветами, восходившими от бледно-бланжевого до прелестного густо-малинового цвета.

Внутри все было чисто, начиная от желтой залы и голубых ширмочек на ее окнах, до маленького кабинетца, в котором Федор Федорович клеил коробочки, баулы, рамки, лил из металлов разные вещи и золотил то к Святкам Для детских елок орехи, то яйца к Святой неделе.

И никакие тревоги, казалось, не проникали ни в желтую залу, ни в кабинет, где он клеил, золотил и лил. Везде он был один и тот же, высокого роста и немного полный, с широкою головою, белокурыми волосами, слегка поседевшими больше от головной боли, которою он часто страдал, длинным прямым носом, с улыбкой, имевшею луч сарказма, как будто озабоченными беглыми светло-голубыми глазами, молчаливостью и беспрестанно трясеюся правою ногою.

Читал он вообще немного, хотя и любил сказать иногда ни с того, ни с сего: «Эти науки!.. Удивительно! с тех пор, как я стал изучать науки, сейчас увидел, что все в жизни пустяки!» И долго после этого он с тонкостью смотрел на своего собеседника, желая прочесть на лице его тот страх, который может навести на всякого человека мысль, что все в жизни пустяки, даже самая философия, которая все это открыла.

В класс он никогда не опаздывал. Только раз пришел полчасом позже, и этот случай так замечателен по своим последствиям, что нельзя прейти его молчанием; это еще было до покупки дома.

Федор Федорович, по обыкновению, услышав звонок со двора частного пансиона, отправился в класс.

Он пришел уже в ту комнату, где стоит водоочистительная машина для воспитанников, не знающих урока, и сторож снял с него пальто.

– Ты повесь его! – заметил немец, подозрительно глядя на него.

Угрюмый сторож, который, по причине своих толстых подошв, совсем отвык употреблять пятки и, казалось, не ходил, а механически стремился вперед, – повесил пальто.

– Ты не замарай его, – присовокупил немец. Сторож провёл по одежде рукою, как бы заранее счищая с нее всякую дрянь.

Федор Федорович пошел было, но вдруг детский крик раздался в стороне столовой.

Потом послышалось что-то вроде мольбы и рыданий. Потом все смолкло.

Поняв, в чем дело, и, повинувшись внутреннему влечению, Ангст пошел на голос, отворил дверь и увидел приготовления к известному всем процессу, так часто бывающему в школах.

Содержатель пансиона, заметив его, махнул сторожам, которые держали за руки белокурого и хорошенького мальчика лет тринадцати, и обратился к нему.

– А! – сказал он, – Федор Федорович! что вам угодно?

– Извините, вы хотели познакомиться с Лессингом, вы просили, чтоб я вам достал... Но я не мог. Я достал вам Бюргера.

– Очень, очень благодарен... Мы зайдем с вами наверх, а пока извините...

Потом прибавил по-немецки:

– Надо кончить эту печальную обязанность.

Федор Федорович взглянул на мальчика. По розовым щекам, до половины ушедшим в воротник, текли горькие слезы, слезы раскаяния и страха. В голубых глазах бедного ребенка Федору Федоровичу показалось столько страстной мольбы, столько отчаяния, что он, после минутной задумчивости, тряся ногой, начал следующим возгласом:

– Аа! это маленький Цветков. Вы его простите, Петр Петрович, он еще вчера обещал мне хорошо учиться.

– Помилуйте! у него пять единиц! Слышишь, Федор Фе-

дорович просит за тебя?!

– Федор... – начал было Цветков, но рыдания отняли у него голос.

Ангст попросил еще по-немецки, и инспектор, человек весьма мягкий, улыбаясь, взглянул на мальчика.

– Петр Петрович... Осокин меня толкнул. А я не виноват, ей-Богу, нет! Осокин меня толкнул, а я закричал...

– Довольно, довольно, – прервал содержатель, – ступай, глупенький, да смотри!

После этого, не слушая благодарности Цветкова, он взял Ангста под руку, и они ушли, а мальчик с различными козлами бросился вон из комнаты так радостно, что солдаты разжалобились.

Это жизнь-то их, право, господских детей! – сказал один, отодвигая скамью. Ведь, что еще за беда, что Дитя малое не выучилось?... Эх, право! и сечь на примерча нечего... Весь-то он сам, вот!

И он отмерил на огромном пальце такую часть, которая и вправду была немного менее Цветкова.

– Ну их! – отвечал другой, поласкав ус.

С этого дня незаметная, но несокрушимая связь связала Ангста с Цветковым.

Немец не забывал спасенного им мальчика, да и трудно было его забыть. Каждый день караулил его Цветков где-нибудь на повороте коридора, или в дверях, или на лестнице, и кланялся ему, осведомляясь о здоровье.

Федор Федорович, в свою очередь, останавливался перед ним с доброю улыбкой, хитрым взглядом и, лукаво потряхивая ногой, говорил:

– Ну что, Цветков?..

Когда мальчик еще подрост, учитель стал брать его к себе на праздники и воскресенья и кормил так, что он терял аппетит на весь следующий день.

Прошло пять лет. И много, много умудрилось убежать воды с этого дня спасения и новой дружбы. Доброго и художавого содержателя пансиона не было уж в живых: на месте его воздвигался другой, пониже и потолще, несравненно ученейший.

Многих из приятелей Федора Федоровича тоже не стало. Энергический лифляндец не мог уж дружески стукать Ангста чубуком, потому что, продав именишко, удалился в Москву доживать у замужней дочери свои бесцветные дни.

В самом же Федоре Федоровиче произошло мало перемены, только немножко прибавилось седин; и все же их было гораздо меньше, нежели белокурых волос.

Но никто не мог перемениться в эти пять лет, как переменялся Ваня Цветков: из маленького и розового мальчика он стал высоким блондином, с крутою грудью, жестким кулаком и такими здоровыми мускулезными членами, что им, казалось, была тесна школьная одежда, они как будто вечно рвались наружу куда-то вширь, и выражали свое рвение то разорванным сукном под мышкою, то расплзшимся рука-

вом; только лицо его осталось по-прежнему с мелкими, почти детскими чертами и ничего не умело выразить, кроме натянутой суровости и весьма не похожей на нее боязливой конфузливости, которую, впрочем, совсем не признавал в себе молодой человек, а напротив того, был убежден в неизменной мужественности своей физиономии. Это убеждение имело своим следствием то, что он постоянно мечтал о военной службе и готовил себя, во что бы то ни стало, к ней.

Часто говаривал он тем из товарищей, которые хотели его слушать:

– Возьму штык и пойду, и пойду! Грудь высокая, талия тоненькая, сила во-о-о... экой буду молодчина-то! Непременно буду воин! Только чувствую, – прибавил он со вздохом, – что головушку мне не сносить... что-то вот сердце щемит да и щемит, говорит мне, что немного погулять мне придется.

Или засучит обшлаг рукава, обнажит свою руку и, положив ее перед собою на стол, долго, долго сжимает и разжимает кулак, заставляя играть перед собой его мышцы.

Потом вскрикнет с улыбкой: «Эка махина!»

И, махнув рукой, встанет.

Однажды он чуть-чуть было не вызвал одного молодого человека на дуэль за то, что тот долго шептал другому на ухо. Что он шептал, Цветков не слышал; но слышал их громкий смех, и когда шептун ушел, юноша постучал себя по воротнику и воскликнул:

– Ох, если б не эта форма...

– Что ж бы тогда было? – спросил его кто-то.

– Если б я был в свете?! Неужели вы сомневаетесь, что была бы дуэль?

– Сомневаюсь, – отвечал другой.

Но Цветков так презрительно взглянул на окно и так ловко припрыгнул, пшикнув на дерзкого, что тот уже никогда не сомневался после этого.

На последний год его курса Федор Федорович, совершенно привязавшийся к Цветкову и любивший его военные наклонности, взял совсем его к себе в коричневый Домик, и там жили они тихо и мирно; вместе ходили на гулянье, и Федор Федорович любил следить за юношей сам, чтоб такое сокровище было сохранено для вступления в жизнь в чистоте и свежести. Цветков же охотно подчинялся дружескому влиянию Федора Федоровича, который, в свою очередь, советовался с ним иногда, спрашивая:

– Как вы, Цветков, об этом думаете? И Цветков отвечал:

– Да, я-с полагаю, Федор Федорыч, что вы очень хорошо придумали, – Вы думаете это?

– Ей-Богу, право, хорошо! И оба весело смеялись.

Иногда возникал у них разговор вроде следующего:

– Как вы думаете, Цветков, о вашей карьере?

– Я полагаю в военную.

– Почему же?

– Потому что я чувствую к этой службе большую страсть.

– Это хорошая дорога; но вы можете и в других местах

успеть.

– Вот, извольте видеть, Федор Федорыч... я вам сейчас объясню... Я русский, я люблю свое отечество. Ну, а ведь вы знаете, в чем больше всего всякая страна нуждается? В защитниках... это известно из истории.

– Как в защитниках?

– В воинах, то есть, в защитниках от нападения других народов.

– Да.

И немец долго задумчиво качал ногой.

– Да, – прибавил он потом через несколько времени, – это правда.

И долго думал добряк после этого о Цветкове и любовался, как тот, подпустив руки под фалдочки, гордо носился по комнате.

Вообще же разговаривали они мало, потому что оба были не говорливы; Ангст по натуре, Цветков отчасти тоже по натуре, а еще больше по усвоенной им привычке мало сообщаться с товарищами веселыми и ребячливыми, позволявшими себе безнаказанно смеяться над его павлиньей гордостью.

II

Но без женщины и у них, к несчастью, не обошлось.

Без околичностей скажу, что Николай Николаевич Васильев, тот самый секретарь, который так напал на методу Федора Федоровича, давно уж прочил дочку свою, Дашеньку, за Ангста. Мать Дашеньки была тоже немка. Девочка росла на глазах Федора Федоровича. Часто, когда она еще бегала в панталончиках и с двумя русыми косичками, болтавшими по спине, Федор Федорович с нежною ласкою сажал ее к себе на колени или затеивал с ней какую-нибудь игру, большую частью тихую, потому что сам ребенок был грустен и тих. Ангст был тогда в полном цвете лет, красоты и сил.

Когда Дашеньке пошел пятнадцатый год, отец стал посылать ее в пансион, где между прочими учителями преподавал и Федор Федорович. Ангст с той поры находился постоянно в молчаливом восторге перед чистым германским выговором Доротеи, ее скромностью и черными, круглыми глазами, которые странно и мило выступали на природно-бледном и сентиментально-прозрачном личике.

Что касается до ее отца, то он давным-давно хотел, чтобы дочь его была со временем женой Федора Федоровича.

Люблю немцев! – говорил он однажды, вздыхая и качая головой, – эх люблю... аккуратный народ! Слушай, Федор... скажи ты мне, брат, ведь у тебя на лице всегда какое-то до-

вольство! отчего это, брат?

Я часто грущу глубоко, Николай Николаич. Лицо обманчиво.

Грусть! что грусть? Это так только тебе кажется, Федор! а впрочем, и вправду, может быть грустно подчас. Это от холостой жизни. Тебе нужно жениться... эх, брат Федор, сказал бы я тебе штуку, да, пожалуй, и не понравится.

Ангст лукаво потряхивал ногой и ждал, чтоб он высказался.

– Или сказать? Ну, скажу. Кабы ты Дарью-то мою взял, как она выйдет из пансиона: спокойно бы тогда старик умер, ей-Богу, спокойно.

– Вы меня поразили, Николай Николаич! Признаюсь, это меня удивляет!.. я ужасно желал бы сам этого. Но Дарья Николаевна так молода, а я уж...

– В летах что ли? Эх, да кабы я в тридцать был таким, как ты теперь, то вот бы как спасибо сказал. Ну, теперь возьми ты меня, – продолжал он, махая руками, – что я? ну, что я?.. Хлам, чистый хлам; не понимаю, из чего жить хлопотал?.. Просто ни к чему. Что дом-то нажил? Да ты спроси, как я его нажил... это не то, что ты... ты благородный человек, Федор Федорыч.

– Но может быть, – задумчиво возражал Федор Федорович, – им кто-нибудь понравится... Против страстной любви, я полагаю, невозможно!..

– Вздор, – кричал Васильев, – вздор. Я сам женился по

любви... еще когда? когда у меня ничего не было... а какое наслаждение – решительно никакого... Как пошла по ребенку в год отсчитывать Марья Карловна-то... как завизжали... Вот тебе и любовь! а к столу-то что? Щи, каша, каша, щи, щи... А там Бог убирать их стал! Опять, говорит жена, горе... и плакса сама была. О-о, плакса покойница... Только вот что хорошо: аккуратна была! На кухню, в погреб, на рынок, в город, к горшку – везде сама... Ну, а я, грешник, признаюсь, смерть, бывало, не люблю, как от нее чем-нибудь кухонным пахнет. Решительно никакой поэзии не было! Так и в гроб пойду!

– Но вы боролись, Николай Николаич! Вы победили жестокость рока...

– Боролся? С судьбою-то? С чего ж ты это взял? – воскликнул отставной секретарь, презрительно отворачиваясь от него – Нет, не боролся, совсем не боролся, – отрывисто прибавил он.

Оба молчали.

– А как ты думаешь, брал я взятки, или нет? – спросил он, несколько погодя, Федора Федоровича.

Ангст не знал, что сказать.

– Молчи, молчи, брат... так и надо; сказал бы, что не брал, так я, у! как бы рассердился. Люблю правду! брал, брал, душа моя... как еще подчас и дурно брал...

Этакая бесхарактерность какая-то была... а не то, чтоб я зол был, или совсем бесчестен.

Кабы дома жить было по краснее, не брал бы...

И старик понурил свою седую голову...

– А теперь бок болит, да и болит... с тех пор, как от должности отставили. А ты знаешь, за что меня отставили?

– За что?

– За то, что я... Да вот, как дело было. Был процесс у помещика Лукутина с Поповой, помещицей, еще от мужа остался не кончен. Его-то статья была поправее...

Да богат, негодяй, был... Ходит, рожа, с цепью, бывало, мародер этакой! Он мне тысячку в руку... Я и того... Вдруг, брат, от Поповой-то записка. Я к ней... Просит, говорит, я не пожалею денег, сколько могу. Дом в деревне маленький у нее, да все так чисто, хорошо, сама, знаешь – этакое что-то приятное в лице, а уж лет тридцать на лицо, бледная, в черном шолковом капоте. Деток двое, просто ангелы. Я больше для детей... говорит, и повела меня в садик гулять. Я, признаться, забыл тогда, что есть Марья Карловна на свете. Кофею прежде напоила и повела в сад. И заплакала, как стала о детях говорить. Я сейчас: не тревожьтесь, сударыня! Я за правым делом не постою, Да в ее сторону и повернул оказию-то. Ну вот Лукутин в высшую инстанцию, да меня за неправости с места долой. Хорошо, что из-под суда-то избавили... А все-таки это значит, брат Федор, чувство у меня было! Вот ты, Федор, – продолжал Васильев после короткой задумчивости; – ты как-то здоров, Бог с тобою... Лицо у тебя цветущее, сердце доброе... честный малый... Жена с тобою

не пропадет; довольна будет, хоть бы даже совсем тебя не любила. Не в Москву же мне дочь везти! А здесь, что и есть на примете молодежи – все или дрянь, или богач. Куда мне с ней? Вот, хоть бы тот, Чиковский... знаешь Евлампия Иваныча сынишка-то? хвалят, что честен, на теплом местечке сидит, взятки не берет... не хочет грешить, зачем? честен... Да уж лучше бы он брал!.. Взятка взятке рознь... Взятки не берет, да и денег у него зато никогда нет. Все на перчатки и галстуки тратит; к начальнику ездит. Это, говорит, для карьеры полезно! а какая карьера? Видел я, как его у начальника-то принимают: с дверей, да со стенок пыль спиной сметает, шевельнуться не смеет... Так-то, брат Федор!

Незадолго перед смертью Николай Николаевич, лежа на диване, подозвал к себе дочь, которая тогда недавно только кончила пансионский курс.

– Дашенька, поди-ка сюда, – сказал он слабым голосом. – Надоел тебе старик, что ли? Все скрипит, да скрипит, а?

Даша заплакала и стала целовать руки у отца.

– А ведь и ты добрая, Дашечка? Добрая девчоночка... удружи-ка отцу!..

– Что прикажете, папенька?

– Что тут приказывать? знаешь, ведь я скоро умру, друг, так опекуном-то у тебя Федор Федорыч будет. Вы мой-то домишко продадите, а капиталец-то в банчик, не в тот банчик – в штосик, а в Опекунский, душа... Да и заживете. Будешь жить у Федора, Даша?

– Зачем вы это говорите...

– Затем... полно, что тут. Все мы смертны. Только я спрашиваю: будешь ли ты с ним жить и во всем ему повиноваться?

– Буду, папенька...

– Эка дочь-то! Ну и люби его... Я, Дашенька, не говорю – тебе замуж за него непременно, потому что клятвой связывать тебя не хочу. А если б пошла за него, кости стариковские порадовались бы. Вышла бы за него... зажила бы чистенько, покойно. А старикашку в землю, в гроб... да хорошенько его землей, землей...

Дашенька вышла вся в слезах из комнаты и встретила в гостиной Федора Федоровича. Увидев ее слезы, Федор Федорович покраснел и взял ее за руку.

– О чем вы плачете, Дарья Николаевна?

– Подите к папеньке, – отвечала она.

– Федор, – сказал старик, – Даша-то будет у тебя жить... Ты ею займись, голубчик, за другого ли отдай, сам ли возьми, если друг другу понравится.

Немец затрепетал.

– Только ты... Ведь я, впрочем, на тебя надеюсь, ты благородный человек.

Через две недели Васильев скончался. Еще раз, перед смертью, он попросил дочь, чтоб вышла за Ангста. Федор Федорович сделал все так, как было угодно покойнику: продал дом его, положил деньги в Опекунский совет и взял Да-

шу к себе. Вот что он ей говорил в тот вечер, когда она перебралась к нему со всеми своими вещами:

– Дарья Николаевна, это будет все ваше... в моем доме!.. Если вам не нравится мой кабинет, я вас переведу в гостиную, она в углу дома и имеет две двери...

– Мне все равно, Федор Федорыч; вы и так для меня слишком добры, – отвечала Дашенька, которую по временам мучило сознание своей холодности к этому человеку с тех пор, как просьба отца сделала его чем-то вроде жениха. Федор Федорович улыбнулся и молча покачал ногою.

– Дарья Николаевна, позвольте поцаловать вашу Руку. Дашенька подала руку, и немец крепко поцаловал ее.

Вы знаете, – сказал он наконец, – желание вашего батюшки... о нашем соединении, о нашем браке; но желал бы знать мнение и ваше об этом... имеете ли вы ко мне какое-нибудь чувство?

– Я никогда не пойду против последней воли отца! Федор Федорович еще потряс ногою.

– Но вы сами, Дарья Николаевна, что вы чувствуете?

– Я очень привязана к вам и полагаю, что буду с вами счастлива... вы были так дружны с отцом моим, вы так любили его и так добры ко мне...

– Я люблю вас! – сказал немец, и подбородок его дергался от душевной полноты и волнения.

Дашенька пожала ему руку и, почувствовав сама в эту минуту какое-то теплое движение в душе, смутилась, встала и

хотела выйти вон.

Федор Федорович остановил ее.

– Дарья Николаевна, скажите мне прямо: угодно вам быть моею?

– Я буду вашею женой, Федор Федорыч... – отвечала она и поспешно ушла.

– Как она скрытна! – подумал Ангст, весело улыбаясь и глядя на дверь, за которой она скрылась; – в этом отношении я ее совсем понимаю; чувство так трудно высказать!

Вошедший Цветков вызвал его из задумчивости. Он был убежден в ее взаимности.

А, это вы! – воскликнул немец.

– Что вы все задумавшись стоите, Федор Федорыч? – спросил Цветков.

Немец лукаво улыбнулся.

– Подите сюда, – сказал он, уводя Цветкова в залу, я имею нечто вам сообщить.

– Что же-с?

– Я хочу жениться, Цветков, как вы об этом думаете?

– Что ж Федор Федорыч, ваши лета хорошие, в ваши лета приятно иметь семейство.

– Это вы умно говорите, Цветков, именно в мои лета!

– На ком же вы думаете жениться, Федор Федорыч?

– У меня уже есть невеста... только это между нами...

– Неужели Дарья Николаевна?..

– Она, Цветков, она. Мы были обручены еще отцом ее в

час его смерти!

– Ну, поздравляю вас, Федор Федорыч. Позвольте вас поцеловать...

Они поцаловались.

– Только ни слова никому, Цветков, об этом... она до окончания траура, верно, не захочет сыграть свадьбу.

Месяца три после этого они жили все трое очень хорошо. Ангст был необыкновенно ласков с Дашенькой, позволял себе звать ее иногда полуименем;

Дашенька была к нему внимательна и почтительна. Цветков был по временам даже до чрезвычайности светск и любезен с ними обоими.

– Ist er nicht ein flinker Barsch – he? – говорил немец своей невесте, любящим взглядом окидывая Цветкова.

– Ja, – довольно холодно отвечала Даша, которой Ваня казался несносным и глупым.

Вообще она начинала страшно скучать, Федор Федорович надоедал ей своим однообразием, и все у него в доме становилось ей противно.

III

Между радостными мечтаниями о браке с Дашенькой замешивались у Федора Федоровича и грустные минуты.

Прошло уже шесть месяцев со дня поселения Дашеньки в его доме.

Ученый содержатель пансиона давно уж был положительно недоволен им самим и его методой.

Наверное, впрочем, можно сказать, что содержатель долго бы терпел его, если б он был незаменим; но недавно приехал в город молодой немец, кончивший курс в Дерпте, Довольно отчетливо знавший русский язык и говоривший немного даже пофранцузски. Он определился года на полтора к одному из богатейших помещиков губернии в виде полу-гувернера или, скорее, компаньона при единственном сыне, который готовился в гвардию и имел уже лет восемнадцать.

Вильгельм Лилиенфельд был несколько мрачный мечтатель, с глубоким взглядом синих и подчас сверкающих глаз, с откинутыми назад темными волосами, с затаенной потребностью делить мечтания и чувства и с неправильными, но выразительными очертаниями лица... Он одевался со вкусом, любил бессознательно казаться интересным и невыразимо нежным голосом читал горячие стихи Шиллера о том пилигриме, который все рвался вдаль и никак не мог найти того, чего так жадно, так непрестанно искал... Но это не ме-

шало ему усердно желать повышений и денег. Не успел он прожить и полугода в городе, как из списка уроков Федора Федоровича выбыло дома два-три.

А там содержатель пансиона побывал у Крутоярова (так звали богатого помещика), разговорился у него с Вильгельмом и пленился им так, что на другой же день сообщил свои мысли о нем одному из надзирателей.

– Очень, кажется, хороший молодой человек, очень, очень, – сказал он гордым и приятным голосом. Я очень люблю и уважаю Федора Федорыча, но согласитесь, добрейший мой Александр Александрыч, что он самый плохой педагог. Дети не умеют склонять у него; а в высших классах он читает такую галиматью, что я даже ничего не понял.

К несчастью, он был прав: Федор Федорович очень неудобно преподавал синтаксис и все высшее своего предмета; нельзя сказать, чтоб он лишен был знаний и понимания, но стиль его записок был странен и страшно труден для усвоения. Содержатель продолжал:

– Хотя я поклялся очистить заведение от всякого сора, но я ведь очень добр и буду ждать непременно причины, которая бы позволила мне, не шокируя никого, переменить учителя немецкого языка. Лилиенфельд не только ученый, но и прекрасно воспитанный мальй.

Надзиратель ушел к себе и, увидав в своей комнате жену, задумчиво плюнул, и, не глядя на нее, как бы в рассеянии вскрикнул:

– Какой дар слова у этого человека! Но жена закричала:

– Что у тебя за скверная привычка плевать везде!.. С тобой никогда опрятности не будет!.. Надел на нос свои очки и харкаешь... Марфа, а Марфа! поди щеткой подотри тут за баринном, да и всегда ходи за ним со щеткой... .

– Ну уж с тобой жизнь! Будет тут какое-нибудь благородство! – проговорил муж, скрежеща зубами.

Так был казнен надзиратель судьбою за ошибочное воззрение на вещи.

Слова содeржателя дошли частью и до Федора Федоровича.

– Что ж делать! – сказал он сам себе. – Если б я уж был женат, а то будет очень скучно без занятий. Надо быть осторожнее! Конечно, рано или поздно... Впрочем, я не понимаю, что имеет против меня этот человек.

Между тем приближался акт, и Федор Федорович, по обыкновению, недели за две о том стал думать, какие бы немецкие стихи дать читать воспитанникам на этом собрании.

– Господа! – весело сказал он ученикам высшего класса, – кто будет нынешний год читать мои стихи, то есть из немецкого языка?

Все молчали.

Федор Федорович тихо обвел глазами всех мальчиков.

– Неужели никто? Опять все молчали.

– Вам не угодно? – спросил он у одного.

– Я читаю свое русское сочинение об Эпаминонде, – холодно отвечал воспитанник.

– А вы?

– Я, право, Федор Федорыч не могу. – Я охрип...

– И вы не можете?

– У меня французские стихи уж давно.

Цветков, никак не ожидавший такого теплого выражения благодарности, быстро обернулся и чмокнул его в плечо.

Посмеявшись часов до десяти, они наконец пошли спать, и на следующий вечер Ваня гордо подал книгу Федору Федоровичу, прося его выслушать стихи, и готовился поразить его нежностью выговора и твердым знанием.

Он начал.

Федор Федорович с удивлением слушал. Чем дальше шел Цветков, тем печальнее становилось лицо доброго учителя. Цветков произносил ужасно, в азарте выговорил все «п» по-французски, в нос. Окончив, он взглянул на немца... и вдруг смутился, увидев, что тот задумался.

– Что же-с?

– Благодарю вас, Цветков, – сказал Федор Федорович, – что вы выучили немецкую поэзию; но вы не можете читать на акте стихи: у вас французское произношение.

Ваня страшно сконфузился.

– Это, верно, от того, – заметил он, притворно смеясь и повертываясь на одной ноге, – что моя маменька очень хорошо говорила по-французски?...

Но не слыша никакого возражения, поспешно прибавил:

– Впрочем, она давно умерла... скончалась от чахотки; у ней была чахотка.

– Ничего, ничего, Цветков, вы не виноваты! Благодарю вас; я никогда этого не забуду.

Акт был на другой день, и немецкие стихи читал какой-то ребенок из маленьких классов.

Содержатель сделал замечания Ангсту насчет этого обстоятельства, дружески попеняв ему за то, что он ленится и не занимается учениками.

Федор Федорович после этих слов решился сам оставить свое место. Он пришел домой, достал все свои тетради грамматики и синтаксиса, связал их в одну пачку, подержал их перед собой в совершенной рассеянности, потом спрятал их далеко, далеко в комод и написал прошение об отставке. Все были поражены... Дети плакали, прощаясь с ним; большие ученики поднесли ему серебряную табакерку, и на всем пансионе лежал отпечаток какой-то грусти в день прощания немца с его обитателями.

Так эффектно кончил Федор Федорович свое педагогическое поприще!

Впрочем, Лилиенфельд отбивал не одни учительские места...

На роду ему было написано причинять все несчастья Ангсту, не зная его, без всякой к нему вражды.

Вильгельм, прожив полгода в городе, приобрел во многих

домах прекрасную репутацию и, несмотря на то, что мало танцевал, был приглашаем на все вечеринки, которые давались чиновниками, педагогами и небогатыми врачами. Там с успехом выставлял он свой стройный стан, германское лицо и жилет из черно-синего бархата.

Скоро встретил он Дашеньку в одном нецеремонном собрании, куда она решила пойти в первый раз после смерти отца. Как я уж заметил в конце второй главы, скука начинала одолевать ее у Федора Федоровича, и ничего нет удивительного, что она сдалась на увещания старой знакомки своего отца, Софьи Петровны Н***, которая нарочно приходила звать ее к себе и утверждала, что танцев у них не будет, а будет простой кружок знакомых, и траур ее нисколько не оскорбит никого.

Итак, Вильгельм встретил Дашеньку.

– Кто это молодая девица в глубоком трауре? – спросил он у одного из гостей.

– У столика-то? Неправда ли, интересна? Про нее ходят слухи, что она выходит замуж за своего опекуна – Ангста... Знаете – немецкого учителя... Впрочем, мать ее тоже была немка... У нас в городе много немцев!

– Я сейчас угадал, что в ней должно быть что-нибудь немецкое! – заметил гордый Лилиенфельд, сдерживая улыбку.

Его подвели к ней и разговор завязался... скоро поняли они друг друга и расстались уж приятелями.

Не стоит говорить теперь о Вертере, разбойниках, балладах и рыцарях, лунных ночах и бестелесных идеалах: все это крайне известно... Только читателям не мешает слегка вспомнить обо всем для того, чтоб рельефнее предстала перед их воображением быстрая и таинственная симпатия, возникшая между молодыми людьми. Они начали часто видаться у Софьи Петровны. Вильгельм стал мрачнее; Дашенька больше вздыхала, сидя дома, язвила Цветкова, который, по молодости, не мог иногда не поферлакурить ей с совершенным бескорытием, и с холодною почтительностью отвечала Ангсту на его красноречивые объяснения.

– Не переменили ль вы намерений ваших, Дарья Николаевна? – спросил ее однажды Федор Федорович.

– Нет, нет, Федор Федорыч! – поспешно сказала Дашенька, вспыхнув и, вспомнив об умиравшем отце, задрожала.

Ангст постоял перед ней несколько минут молча и робко присовокупил:

– Не меняйте их, Дарья Николаевна... Я вас страстно люблю! Ваш отец, Дарья Никол....

– Ах, да не говорите про отца!..

– Ну, так я желал бы поцеловать вашу руку.

Дашенька протянула ему руку и сама, движимая расстроенными нервами и благодарностью, крепко поцеловала его в лоб.

Ангст быстро вышел из комнаты. В сумерки этого дня он сообщил ей свои мысли.

– Теперь, Дарья Николаевна, после этой ласки... после первого поцалуха любви... после этой ласки, я сказал внутри души, что я не могу жить без этого создания... я скорей сойду с ума или погибну... но это создание будет моим! Я не уступлю никому этой женщины!

Потом он много смеялся и, желая позабавить ее, шутливо сказал, что в день свадьбы наденет жилет, который он видел в рядах: на черных полосках были изображены желтым шолком охотники, ружья, собаки и птицы.

Дашенька, рассеянно слушая, вспомнила о бархатном жилете Вильгельма и снова нашла между Лилиенфельдом и Ангстом такую же разницу, какая была между жилетом первого и дурацкою материей, описанною вторым.

– Что я наделала! ах, что я наделала! – мысленно восклицала она.

Что касается до Вильгельма, то он разгорался с каждым часом и, вдобавок, нашелся человек, который, из эгоистического удовольствия, счел нужным подливать в его огонь масло. Этот человек был юноша – Полинька Крутояров, сын богатого помещика, готовившийся на службу.

IV

Сам помещик был мягкий нравом человек, сохранивший от свежих годов своих довольно беглые, сладенькие глазки, еще не совсем угасшее сластолюбие и большую степень светской любезности, которая делала его приятным для многих, особенно для приезжих из столиц. Притом он не был лишен здравого смысла и своего рода старческой образованности, букет которой несколько повыдохся от времени. Он умел быть округлен в своих разговорах с дамами, и перед лицом их очень быстро стряхалась с него тучная лень. Все эти качества, соединенные с большим состоянием, доставили ему значительный вес в городе и постоянный доступ в интимность строгого губернатора и его скучающей жены. Все знали, что у него есть, кроме имений, порядочный капитал, который он берег для сына, для милого Пашеньки, чтоб мальчик, поступив в гвардию, мог, не стесняя отца, погулять и поблистать вволю... Он страстно любил сына. В нежных чертах его смуглого лица, в отпечатке стройной грации и на лице, и на худеньком, высоком стане юноши, и, наконец, в самом способе выражаться, отец видел черты, стан и манеру покойной жены своей, умершей спустя два года после замужества. Он женился рано на ней и принес ей в дань весь разгар своей молодости.

Оттого-то скоро умершая оставила в душе его неизглади-

мо свежее воспоминание и вдобавок сына, похожего на это воспоминание. Конечно, несмотря на постоянную жизнь в провинции, Полинька получил блестящее воспитание и воспользовался им. Он делал, что хотел из отца, с четырнадцати лет начал читать какие угодно романы...

Неумолкающий треск Дюма, Сю и бешеный тон его страниц, из которых, вопреки цели автора, юноша никак не хочет извлечь морали, были поглощены им в той поре, когда начинается собственно драма моей повести, то есть к девятнадцатому году его жизни и приезду Вильгельма. Бесцеремонность Польдекока также не ушла от него, и все это так пропитало ему память и ум, что он, не смысля сам жизни и тем более той, которая была около него, беспрестанно изумлял и отца, и других то резкостью фразы, то непринужденностью обращения с женщинами всех классов, то холодной точкой зрения, которая, в сущности, была та же тщеславная экзальтация. Многие осуждали Крутоярова за такое воспитание сына; много готовил он себе горя, а молодому человеку – несчастий, и часто стал задумываться в последнее время. Но Поль кокетничал пред ним, и все шло по-прежнему. По-прежнему таскались к нему товарищи и различные паразиты, по-прежнему запрягалась лучшая тройка по одному мановению Поля, по-прежнему бежали они оба вперед, один с своею ленивою слабостью, другой с ядовитым кипятком молодого воображения.

Приезд Вильгельма в их дом имел довольно хорошее вли-

вание на нравственность Поля, тем более хорошее, что года подходили опасные. Лилиенфельд был экзальтирован, но чист во многих отношениях; и хотя, вместо наставника, он стал чрез неделю приятелем, а там и другом Поля, хотя он и сам ослепился в молодом человеке и не избежал обаяния его любезности, однако авторитет возраста все же взял свое и поправил многое. Со стороны Вильгельма не было, впрочем, никаких предначертаний для достижения этой цели; все улучшение сделалось само собою и незаметно для действующих лиц... Так легко направить юношу с разбежавшимся вниманием к чему-либо лучшему, особенно когда юноша хочет нравиться, как хотел нравиться Поль.

Скоро развившаяся любовь Вильгельма к Дашеньке дала им случай сблизиться еще теснее и раскрывала новое поприще для Поля, который желал как-нибудь пошуметь, пока не пришла пора греметь саблѣй по Невскому и носить на себе золото кавалергардских лат.

Трудно было Вильгельму долго хранить молчание... И он однажды, в сумерки, открыл состояние своего сердца тому, кого часто вначале и за глаза звал ребенком.

– Друг мой, – сказал он, – холостому трудно жить!.. Надо жениться.

– Вот вздор-то! – воскликнул Поль, – гораздо лучше холостому.

– Нет, Поль, холостому приходят все такие идеи... После этих слов молодой немец взглянул в окно на месяц и мечта-

тельно провел рукой по волосам.

– Жизнь пройдет, – продолжал он, – и не будет плодотворна... Семейная жизнь свята, и ты говоришь противное, потому что ты еще ребенок...

Поль хотел было рассердиться, но Вильгельм поспешил прибавить:

– Ты не обидься моими словами, мой друг!.. Как ты ни умен и ни начитан, но все я больше исчерпал жизнь, чем ты... и вижу, что чистая любовь не имеет в мире ничего себе подобного.

Поль заинтересовался разговором и через час он знал обо всем: о смерти Дашенькиного отца, о ее странных отношениях к Ангсту, ее красоте и страсти Вильгельма... Довольно было этого, чтоб возбудить участие молодого Крутоярова. Он решился всеми силами помогать Вильгельму и начал с того, что посоветовал ему подкупить кухарку Федора Федоровича и завести с Дашей переписку и свидания. На другой день он сам, пользуясь темным вечером, надел нагольный тулуп и таинственно пошел в глухой переулок подкупать кухарку, заранее изготоя оговорки и предлоги для посещения. Это удалось, а за этим удалась и переписка; на свидания же Дашенька не согласилась, отвечая, что они видеться могут очень часто у общих знакомых, что и то она много делает для него, не обращая внимания на святость траура и посещая различные вечеринки.

Лилиенфельд, увидев в Поле такого горячего и ловкого

помощника и помня, что чрез него для материальных вещей и отец Крутойяров может быть очень полезен, стал еще на более товарищескую ногу с своим воспитанником.

Одним словом, для Поля все шло прекрасно; для влюбленного, напротив, дурно, потому что надежд было мало, Ангст казался упорным и с виду, и по намекам молодой девушки, а сама Дашенька разделялась между памятью об отце и рождающейся любовью.

Между тем настало лето. Все шло по-старому. Любовь росла, росло участие Поля (особенно с тех пор, как он сам познакомился с Дашей); только бедный Ангст начинал сильнее тревожиться, видя, что траур кончился, а о свадьбе и помину нет. Частые выезды Дашеньки, которая с хитростью иногда предлагала ему сопровождать ее к знакомым барышням, тоже не очень ему нравились. Но отношения ее к Вильгельму были ему совершенно неизвестны, потому что при нем Лилиенфельд был осторожен и имел настолько такта, чтоб не скрывать своего знакомства с нею, как знакомства поверхностного.

К числу прошедших перемен надо отнести и выход Вани Цветкова из пансиона, выход законный, после окончания полного курса. Гордо стряхнул он с себя школьное иго, сделал себе, с помощью Ангстова кошелька, твиновое пальто, сюртук и еще кое что, решил поотдохнуть от науки годик или полтора, а там, конечно, начать военную карьеру. Федор Федорович скрывал от него свои беспокойства, не имея для

них достаточных оснований, но любил его прежнюю отцовскою любовью и содержал его у себя без всякой платы.

Однажды (это было в половине июня) к Федору Федоровичу заехал знакомый старичок, управитель одного подгородного села и страстный рыболов.

– Поедем же ко мне поудить, – сказал он Ангсту, – хоть дней на пять, на недельку... У меня в реке и в прудах рыбы бездна.

Ангст подумал и, будучи в грустном расположении духа, согласился. Он надеялся порассеять себя новым родом увеселения, тем более, что делать ему было почти нечего, а задумчивость его росла с каждым часом. Притом в душе его шевельнулась мысль, не подействует ли на Дашу благотворно эта неожиданная, хотя и короткая разлука, после целого года молчаливой жизни почти с глазу на глаз.

– Дарья Николаевна, я хочу ехать! – сказал он, накинув на плечи свою бледную альмавиву и покрыв голову серою шляпой.

– Куда? – задумчиво спросила молодая девушка.

– Я хочу ехать с Робертом Ивановичем к нему, в деревню... на неделю, а, может быть, и более... там рыба...

– Так что же-с?

– Ничего, Дарья Николаевна; я сообщил вам... как вы думаете?

– Что ж мне думать, Федор Федорыч? Я, право, не знаю, что вам угодно...

Вероятно, вам будет весело там.

– А вам не будет скучно, Дарья Николавна?

– Не думаю, Федор Федорыч, я привыкла быть одна и даже очень люблю одиночество.

Этот разговор происходил в палисаднике. Ангст поцаловал грустно ее руку.

Альмавива зашевелилась и вместе с шляпой скрылась за воротами.

Даша посмотрела ему вслед и заплакала. Тяжела была борьба сердечного чувства с чувством долга!

Через час Вильгельм узнал об отъезде Ангста, а через полтора, в ту минуту, как Цветков сошел с крыльца, чтоб совершить вечернюю прогулку на бульваре, из-за угла выскочил какой-то незнакомец, осмотрелся и смело проник в коричневый дом.

Поль меж тем не дремал. Едва узнал он об отсутствии Ангста, как зачатки обширного плана начали расти в его голове. Пока Лилиенфельд забывал все у ног Доротеи, молодой друг его ходил с озабоченным видом по комнатам и замысел зрел.

«Ангст пробудет дней пять, может быть, и больше... Прекрасно! хотя Даша робка, но Вильгельм убедит ее. А любовь ей поможет решиться. Тогда надо спешить... Отец имеет связи, он будет щитом от скандала. Он даст лошадей в Белополье (так звали именье Крутояровых); лунною ночью будет свадьба... это превосходно! Мерцание лампад и свеч... Бледная

невеста, стройный германский студент... И сам Поль, смелый и хитрый Поль... к тому же благородный и красивый собой...»

Весело было жить ему в этот миг, привольно было возиться с такими мыслями и предприятиями.

«Препятствия все к чорту! К чорту все препятствия!»

Тут он вспомнил о существовании Цветкова и о том, что он может быть помехой.

Но он знал, что Цветков жаждет его знакомства.

Цветкова он видел раза три у общих знакомых, перемолвил с ним слова два, и сын хозяина тогда же говорил ему, что Цветков очень желает с ним познакомиться. И надо сказать правду: Ваня, несмотря на свою осанистость, глубоко горевал, когда видел, что многие другие юноши, не имеющие аванжа, кутят у Крутоярова, обедают с его отцом и сидят в его санях, когда эти сани в праздничные дни летят по главным городским улицам, опережая всех и все, среди похвал, немых удивлений и комов снега, взметаемых рьяными пристяжными. Поль встречал в книжках много бездарных лиц с сильно развитыми наклонностями к роскоши и удачно на этот раз понял Ваню.

Он с особенным наслаждением заговаривал с ним всякий раз для того именно, чтобы помучить его неприглашением. Теперь же думал иначе.

«Я позову его сюда, или, еще лучше, в Белополье. А Вильгельм между тем уговорит Дашу бежать». Так решил он и

жадно ждал возвращения Вильгельма.

Лилиенфельд вернулся с упавшим духом: молодая девушка была печальна, говорила, что ни за что ничего не предпримет, что надо ждать и долго ждать; на просьбу Вильгельма позволить ему открыто переговорить с Ангстом, махала руками и т. п.

– Она говорит, – прибавил Лилиенфельд, – что он добр, но с тех пор, как задумал на ней жениться, стал для нее страшен, особенно своею молчаливою скрытностью. Он говорил ей сам, что ни за что не уступит ее никому. Но я полагаю, что слушать ее в этом случае не надо!

– Что ты! что ты! – возразил Поль. – Она права! я сам слышал, что он ужасно упрям и угрюм... даже злобен...

– От кого же ты это слышал?

– От Цветкова, который живет у него, – отвечал находчивый Поль.

Без сомнения, он страшно солгал. Никогда не слышал он ничего подобного об Ангсте, тем более от Цветкова, который, кроме похвал, подчас подкрашенных славянским слогом, ничего не распространял о своем благодетеле.

– Он же говорил сам, – присовокупил юноша, сторя внутренне от стыда; – что никому ее не уступит... лучше выслушай мой план.

Поль изложил его. Вильгельм задумался.

На другое утро они встали рано и до обеда толковали и спорили, уничтожив в разгаре бесчисленное количество па-

пирос. Лилиенфельд наконец сдался, несмотря на недоверие к летам своего помощника, несмотря на кажущуюся трудность исполнения.

Отец Крутояров после жирного обеда расположился в легком халате на оттоманке, с надеждой на сигару и усладительную дремоту.

Сигара его докурилась: темно-малиновые занавески окон и другие предметы комнаты уж начинали тупо и бесцелковых. Поль умудрился вытащить у него из-под руки, сверх этой суммы, двадцатипятирублевую ассигнацию и убежал, преследуемый добродушной бранью родителя.

Задача состояла в том, чтоб выпросить у отца порядочную сумму денег, необходимую для дела. Поль знал, что отец в эту минуту был не слишком при деньгах, потому что три дня тому назад проиграл несколько тысяч в палки.

V

Обманув слабого отца, Полинька Крутояров решился действовать по возможности быстрее. Он знал, что робкий и нерешительный нрав Доротеи не позволит ей бежать из дома немца, когда он вернется. Надо было познакомиться с Цветковым и увести его; надо было дать ей знать о последнем решении, надо было, наконец, чтоб сам Вильгельм лично убедил ее своим пламенным красноречием.

– Слушай, Гильом, – сказал Поль, – давеча я думал, что все трудности кончены, когда отец согласился... Ведь еще много нужно, а времени мало... того и гляди Ангст вернется!

– Друг мой! – отвечал Вильгельм, отняв руки от лица, которое он давно уж закрывал ими, и схватив стоявшего перед ним Поля за талию. – Друг мой, научи меня, что мне делать, – ты так быстр!

– А ты-то что ж, брандер?! где ж твоя дерптская отчаянность, брат... А?

– Я ничего не могу придумать, Поль, – отвечал немец, поникнув головой, – я только полагаю, что она ни за что не согласится.

Он махнул рукой, и глаза его сверкнули. Поль засмеялся и велел подать себе трубку.

– Слушай же, – начал он, – ты ведь убежден, что записка твоя, как бы красноречива ни была, произведет неболь-

шой эффект? Да? Надо тебе с ней видаться, Вильгельм... И чтоб этот Цветков не помешал тебе или не послал тотчас же к Ангсту, за это возьмусь я. Завтра она будет одна целый день и целую ночь; слышишь, целую ночь... потому что я знаю, как это сделать.

– Как же ты удалишь этого мальчишку?

– Не твое дело, уж я знаю!

Но Вильгельм оживился и стал требовать объяснения.

– Я увезу его в деревню, – отвечал Поль.

– Да разве ты с ним знаком?

– Хм! Буду знаком!

Тут молодой Крутояров так ясно изложил свой план, что Вильгельм вскочил и обнял его.

– Милый Поль, – говорил он, – неужто это удастся нам?!

Ты говоришь правду...

Малые ручьи составляют реки... Да! Если этот Цветков будет там, она будет беспрестанно в ужасе, и я ничего не добьюсь от нее... А если она решится... быть ее мужем... по-слезавтра...

И, подавленный светлыми ощущениями, молодой человек опустился в кресло.

Потом продолжал более тихим голосом, как бы томясь и млея:

– Но, послушай... не рискуешь ли ты много для меня? За это может быть история... конечно, добрый друг мой, если уж человеку суждено быть обязанным в своей жизни ко-

му-нибудь, я желаю быть обязанным тебе и твоему отцу.

– Полно, немец, полно, – возразил юноша, – бери шляпу и пойдём на бульвар.

Цветков верно будет там... Он каждый вечер таскается туда с тех пор, как кончил курс...

Цветков действительно уж рисовался в твиновом пальто и фуражке на губернском бульваре, который так красиво упирается в реку.

Походив и показав всем свой стан, то спереди, где раскрылся на белой и крепкой манишке чёрный шолковый жилет с голубыми клетками, то сзади, где так плотно обливала серая материя его широкую спину, то, наконец, с боков... тогда резко выступал на бульварной зелени геройский очерк его груди; показав все это гуляющим, он сел на скамью и закурил папиросу, нетерпеливо ожидая, чтоб стемнело и чтоб губернаторские девушки выбежали из задних ворот на бульвар погулять с молодыми кавалерами, пока господа кушают вечерний чай. Он уж стал насвистывать что-то, как вдруг увидел Поля Крутоярова и Вильгельма, выходящих из боковой аллеи. Цветков довольно гордо отвернулся, как бы не замечая их.

Но, к большому его стеснению, Поль сел около него на лавку. Вильгельм подошел к каким-то дамам.

Цветков стал суров лицом и перестал петь. Поль молчал и чертил тростью по песку. Потом Крутояров стал искать чего-то в карманах и прошептал:

– Чорт знает, папиросы забыл!

Цветков, уж тронутый тем, что Поль не имеет папирос, тогда как они у него есть, чуть было не подал ему своих, но удержался.

Поль зевнул и вдруг обратился к Цветкову.

– Скажите, пожалуйста, что же это так мало гуляют? Мало народа...

Цветков побагровел и, повернувшись к нему, отвечал!

– Да-с... это правда!

– Право, мало, – небрежно продолжал Поль. – И главное, что несносно, ужасно мало порядочных людей!

Ваня, успевший несколько оправиться от первого натиска, одобрил его благосклонной улыбкой.

– Скажите, пожалуйста, – продолжал Поль, – я даже сбирался вас отыскивать...

Меня очень интересует судьба этого молодого человека, у которого я имел удовольствие вас встретить; тогда еще вы были в пансионе... этого Сережи Кольцова...

Я полагаю, что вы должны про него много знать.

– Да, мы с ним были дружны... Я могу вам рассказать все подробно.

Крутойяров знал, как жаждал Цветков его знакомства, и потому, встав, предложил ему вместе пройтись, и взял его под руку.

Мускулистая рука будущего воина почти дрожала от стыдливого удовольствия, когда оперлась на нежное тем-

но-коричневое трико аристократического рукава.

– Кольцов, – начал он, – Кольцов уехал в Москву и получил там место. Его притесняли здесь...

– У меня есть к нему очень важное письмо, – солгал Поль, – и потому-то, признаюсь, я отыскивал вас, чтоб узнать его адрес... Впрочем, я очень рад, что мы познакомились по этому случаю... я даже дивлюсь, как до сих пор... Нет ли у вас папирос?..

Цветков достал ему папиросу.

– Вы меня извините, – продолжал Крутояров, – что я так, без церемонии... Я полагаю, что молодым людям смешно употреблять разные штуки и увертки для сближения...

– Это истиннейшая правда... я сам тоже! Чем проще душа, тем она мне по сердцу, – с теплым взглядом возразил Цветков. – Ей-Богу! я вот какой человек... уж как понравится мне человек, так я весь на ладонке сам... я ведь солдат в душе! присовокупил он со вздохом.

Он даже думал, что не будет ли лучше при этом ударить себя в грудь, да как-то оробел.

Словом, первый шаг был сделан, и оба они, крепко пожав друг другу руки и обменявшись взаимными приглашениями, ушли наконец домой, оба довольные: один активным, другой пассивным успехом.

Ободренный Цветков, прощаясь, сказал Полю следующие слова:

– Милости просим, ко мне! Вы не найдете у меня рос-

коши... роскоши вы у меня не найдете... но найдете радующие...

Во время ужина en tête-à-tête с Дашенькой он был очень любезен, хотя не без грустного оттенка в лице и словах (этот оттенок был, впрочем, выражением жизненной теплоты). Даша была особенно бледна, часто поднимала к потолку глаза, часто вздрагивала и долго и глубоко вздыхала. На другое утро Цветков сидел в своей горенке на постеле и, сопровождая себя на гитаре, пел из «Аскольдовой могилы»: «В старину живали деды...»

Эту песню певал он часто с тех пор, как стал вольною птицей и начал чувствовать сильные побуждения к разным задушевным веселостям и разгулам, о которых так современно говорит эта песня, несмотря на слово «Аскольд» и на претензии самого Неизвестного.

Вдруг в стекло кто-то ударил тростью. Цветков бросился к окну, думая, что это вернувшийся Федор Федорович. Но каково было его удивление, когда он увидел под окошком Поля, в шляпе, с поднятым воротником пальто и веселою улыбкой. Цветков быстро раскрыл окно.

– Ах, извините! – воскликнул он, – я, право, и не мог придумать! Да войдите ко мне.

– Нет, – отвечал Польш, – теперь некогда... я спешу домой: сегодня мое рождение...

– Честь имею вас поздравить...

– Ну, что тут за поздравления! Дело в том, что я зашел

звать вас к себе сегодня вечером. У меня будут два приятеля... Славные ребята! Один очень даже образованный... он студент; не кончил курса... Вот, если вы любите серьезные разговоры...

– Как же-с... я все больше серьезные...

– Да мы поедем в Белополье. Вы знаете, оно ведь только пять верст от города.

– Знаю, знаю-с!.. В котором же часу прикажете?

– Приходите ко мне в шесть часов... Вы любите в телеге кататься?

– Ужасно люблю!..

– Так мы в телеге поедем... Покутим как! Прощайте. Не хотите ли лучше, чтоб я за вами заехал прямо сюда?

– Я думаю, это будет лучше.

– Хорошо. Так в шесть часов. Прощайте, Цветков!

– Прощайте, Павел Васильич!

Поль ушел. Окно закрылось, и Цветков остался один с своим восторгом. Тотчас же достал он из комода новый тук, потряхнул его и повесил на стул, спинкой кверху; вынул толковый коричневый жилет, по которому были разбросаны матовые, шоколадного цвета листья.

Жилет-то, собственно, не был безвкусен, но уж несколько имел в себе тайного шика, свойственного, как известно, модному предмету. Сапоги, новая фуражка были также вынуты. Все было хорошо; но над перчатками Цветков задумался: у него было две пары – желтая и белая, еще не тро-

нутые. Наконец, после долгих прений с самим собою, решил он надеть белые, зная, что это самый парадный цвет. «Еще, пожалуй, шельма-богач обидится, если к нему на рождение в цветных приедешь!» – подумал он с плутоватой усмешкой. И, преисполненный веселых мыслей, вышел в сад с гитарой.

Он едет в Белополье... в Белополье, где такой чудесный каменный двухэтажный дом; где такой прекрасный сад, диво искусства; ряды елок и лип, стриженных так отчетливо: то обелисками с шарами наверху, то круглыми шапками, то целыми непроницаемыми стенами! Сад, в котором ему приходилось гулять с товарищами не раз, потому что старый Крутояров, любя толпу, разрешал гулянья в саду городским жителям, – куда в Троицын день съезжался и сходилась весь город, несмотря на расстояние, где пели цыгане, плясали крестьянки, курились в зеленых закоулочках самовары.

И он, он, который только с почтительною завистью глядел на крайние окна верхнего этажа, за которыми, как ему было известно понаслышке, жил счастливый наследник всех этих волшебств, жил изящный Поль, считаемый им до вчерашнего дня недоступным гордецом... он будет кутить там! Каков же должен быть кутеж, общество?

Каковы вина, каков разгул и раздолье? И громко звенели струны гитары под его могучими пальцами!

Я еду к Крутоярову нынче, – сообщил он Дашеньке, садясь с нею за стол. Его рождение сегодня. Вы разве с ним познакомились? Совершенно неожиданно... Вчера на буль-

варе.

– Я очень рада за вас, – холодно промолвила Дашенька. – Вы, я думаю, будете веселиться там. Он очень добрый и умный мальчик...

– Разве вы его знаете? – спросил с удивлением Цветков.

Дашенька покраснела.

– Понаслышке, – отвечала она, спохватившись. Цветков не обратил на это обстоятельство никакого внимания. А дело было вот в чем: Дашенька еще прежде Цветкова знала, что он будет целый вечер, а может случиться, и следующий день у Поля, хотя рожденья никакого не существовало. Еще утром получила она от Вильгельма записку, которой перевод представляю здесь.

«Душа моей души, сердце моего сердца! может быть... почти непременно я прижму вечером тебя к своему сердцу! Ты будешь одна. Цветков будет в деревне у доброго Поля, который так великодушно и благородно помогает мне во всем! Ты будешь одна, и в семь часов вечера я буду у ног твоих. Надеюсь, что мы что-нибудь решим».

Потому-то встревоженные мысли ее уносились Бог весть куда, и она в забытии сделала промах, не замеченный ее собеседником.

VI

В семь часов вечера у ворот коричневого домика уже стояла красивая желтая тележка с гнедою тройкой.

В ней сидели двое; а на облучке стройный кучерок, слегка избоченясь, изредка бодрил концом кнута коренную, которая то и дело вздрагивала и порывалась вперед; пристяжные кокетливо беспокоились. Ярко-красная рубашка кучера свободно и легко обрисовывала его жидкие молодые члены, синий кафтанчик давно спал с одного плеча, а шляпа-гречневик была уж так забубенно посажена на черные волосы, что едва-едва держалась на них. Изящный кучер был самый юный Поль. Один из седоков в статском платье, с курчавыми каштановыми волосами и огромным мрачным лицом, был тот студент, не кончивший курса, о котором, как о человеке весьма образованном, отзывался Поль, стоя перед окном Цветкова. Другой был отставной пехотный прапорщик и небогатый помещик, очень свежий молодой человек, белокурый и бесцветный.

Напомаженный и разодетый Цветков бегом выбежал из ворот и снял фуражку тем, которые сидели в телеге. Молодые люди отвечали ему поклонами. Потом, узнав Поля, он вскрикнул:

– Это вы сами? Каково! ха, ха, ха!

– Садитесь, барин, – отвечал Поль, показывая кнутом на

облучок и стараясь сделать свой голос ямщичьим, – Не похоже, брат, не похоже! – закричал ему помещик, – не умеешь ты поямщицки-то говорить!

Поль не без горечи возразил ему:

– Ты что ли умеешь? Ну, сиди там, молчи! Полезайте, Цветков... Дайте руку.

Цветков весело взлез. Поль избоченился, подтянул возжи и залихватски крикнул.

Тройка понеслась по мостовой, страшно стуча и обращая на себя всеобщее внимание.

Цветков, которого так и подбрасывало на облучке, улыбался и беспрестанно хватался за Крутоярова. Отставной прапорщик выходил из себя, крича: «Тише, тише!

Крутояров! Помилуй... весь бок избило... Полно! Крутояров!» – Но ничто не помогло:

Поль шумел и махал кнутом.

Студент несколько времени терпел и молчал, потом вдруг вскочил, схватил Поля за плечи и загудел ему на ухо.

– Стой, стой! не то я сейчас выскочу вон!

Поль захохотал и приостановил лошадей. Легкою рысцой добрались они до заставы.

– Эх, вы доморощенные! – воскликнул он снова, когда под колесами стало мягко и в лицо им пахнуло вечерним ароматом полей.

– Ну, теперь пошел! – заревел отставной прапорщик так, что Цветков испугался.

«Соколики-и!»

И тройка неслась, подымая пыль и ветер.

– Экая жизнь! – думал Цветков.

– Не так кричишь, – тревожился помещик. – Не так кричишь... Надо с прибаутками... «Ветер дует преужасный, ах мой миленький несчастный!..» аха! Давай мне возжи!

– Пошел прочь! – возразил Поль сердито.

– Давай!..

– Не дам, пошел прочь!

И Поль ударил его по руке.

Отставной прапорщик отплатил ему толчком в спину. Взбешенный Поль хотел продолжать сражение, но студент угрюмо остановил его, примолвив:

– Кажется, тебе есть о чем другом подумать.

Поль ограничился одним резким проклятием, которое как и вся остальная его грубость совсем не согласовались ни с голосом его, ни с его *grassaiement*, ни с целым типом его особы.

Скоро, впрочем, минутная ссора была забыта, и все думали только о том, чтоб наслаждаться быстротою езды и вечерним воздухом.

Солнце начинало садиться, свежесть росла с каждым мигом, тележка легко катилась по луговой дороге, коренник-иноходец мерно и часто стучал звонким копытом, пристяжные вились, словно птички, как бы не чувствуя никакой тяжести.

Поль задумчиво поводил над ними кнутом, белокурый прапорщик и студент затаили простую русскую песню; Цветков игриво блаженствовал... Наконец они достигли стриженного сада и, обогнув его угол, Крутояров довершил свой подвиг диким воплем и пустил всю тройку вскачь, так что она пронесла их гораздо дальше крыльца.

Сбежавшиеся кучера взяли у них лошадей.

– Ничего нет хорошего в твоём иноходце, Осип, – заметил белокурый прапорщик одному из кучеров.

– Напрасно позорите, ваше благородие, лошадка...

– Ну, что с ним толковать, Осип! – сказал Поль, – ступай, поводи их. Разве он смыслит в лошадях!

– Эх ты, чижик! – вскричал, заскрежетав зубами, отставной прапорщик, – ты что ли смыслишь?

– Да уж побольше твоего! Ты разве не видал, как он бежит-то...

– Бежит, бежит! Да ты хоть кого запряги – побежит, когда кнутом будешь то и дело, то и дело!

– Нет, ваше благородие, – сказал Осип, который уж не мог владеть собой, – уж если вас, например, запречь, так хоть кнутовищем...

Все хохотали. Поль торжествовал.

– Осел, мужик! – прошептал белокурый господин и направился к дому.

Поль с двумя гостями последовал его примеру.

На заднем балконе верхнего этажа, обращенном в сад, уж

был накрыт стол для чая, и графинчик с ромом показывал, что Крутойяров не был намерен вполонину праздновать мнимый день своего рождения. Табак задымился, заклубился пар самовара, застучала посуда... После двух стаканов пунша, отставной прапорщик забыл свой урон и, дружески взяв Поля за руку, упрекал его в сквалыжничестве.

– Так-таки ничего и не поставишь? ни жженки, ни клико... ничего, таки ничего, Паша?

– погоди еще! – лукаво отвечал хозяин. – Еще рано. Пойдем гулять на деревню, заставим баб плясать; а там уж заужином...

Отставной студент, слыша это, повеселел и обратился к Цветкову.

– Вы давно, батюшка, кончили курс? – спросил он его.

– Нет-с, не так давно... месяца с два.

– Ага! Ну-с, это хорошо! А куда-ж вы, батюшка, полагаете?

– То есть, насчет карьеры? Я полагаю в военную.

– Ага! Да, да. Это славно! Имеете состояние? Цветков ни под каким видом не ожидал такого вопроса и впопыхах счел нужным оцветить свою бедность.

– Нет... Видите ли... маменька моя, то есть матушка, имела сорок тысяч годового дохода, но я-с...

– Гм, – строго прервал студент, – мне нет дела до того, что имела ваша матушка, хотя я ее очень уважаю! Я спрашиваю о ваших собственных средствах...

Видно, никаких нет! Бедность, отец мой, не порок; скорей добродетель. Я тоже ничего не имею.

Отставной прапорщик провозгласил, что пора идти в деревню, и хотел взять под руку Поля, но Поль схватил Цветкова и снова опозоренный прапорщик наступил за то ему два раза на пятку.

Не стану описывать, как бабы водили хороводы; как свистала молодница Матрена, плавно поводя платком над головой; как другая женщина, постарше, шевелила все тело свое и топталась крепкими подошвами на влажной траве; как растилался кучер в упоении пляски... Скажу только, что Цветков еще никогда не бывал так счастлив, и стал совершенно свободно глядеть на своих собеседников: вначале, еще не войдя в азарт, он боялся то знатности Поля, то учености сумрачного студента, то военности отставного прапорщика, позволявшего себе так смело критиковать все, что ни попало ему на зуб.

Благородные дары Бахуса, обильно пролитые за ужином, скоро победили юношей, малопривычных к ним.

Поль лежал на диване с сигарой и громко пел, глядя в потолок. Отставной прапорщик, с бокалом в руке без сюртука и галстука, то плясал по комнате, то делался нежным и жал крепко руку Полю, который братски ему улыбался и дружески гнал его прочь. Цветков был страстно влюблен во все его окружавшее и позволял себе изредка вскрикивать. Недоучившийся студент, не умолкая ни на минуту, болтал и, ис-

тощив все свои предметы, заговорил с Цветковым.

– Эге, батюшка, какое же ты чучело!.. Право, чучело, Цветков! Вы меня извините, душа моя, что я вам сказал ты.

– Ничего, ничего, – смеясь отвечал Цветков.

– Как тебя по имени-то зовут?

– Иван....

– Ну, Ваня! это хорошо! Ваня, Ваня! кабы ты знал, что ты такое? Ты думаешь, что ты человек? – Конечно, человек.

– Хм! нет, ты не человек...

Тут ученый муж потыкал ему пальцем в нос и потом извинился.

Цветков так пошло засмеялся, что всякий зритель, не покоренный вином, отвернулся бы с болью в душе.

Во время этого разговора отставной прапорщик заснул. Поль кликнул слугу, велел подложить ему под голову подушки и, если можно, раздеть, а сам хотел уж удалиться в спальню; но студент, который спяна возненавидел Цветкова и очень желал раззадорить или взбесить отуманенного героя, снова обратился к нему, запуская руки в карманы и неопределенно глядя ему в лицо.

– Так так-то, брат Цветков... вот мы с тобой и познакомились: я, брат, твою физиономию видел на бульваре... Ты живешь у Ангста что ли?

– Да, у него. Добрейший человек!

– Вот то-то и есть... кабы не он, да не она, так тебе бы здесь и не бывать... брат Цветков!

Поль, несмотря на собственный туман (который, впрочем, был умереннее и благороднее, чем у остальных), понял, что студент начинает врать.

– Что ты дичь порешь... ты совсем пьян, Михаиле Иванович, – сказал ему Крутойров, хватая его за руку.

Студент оттолкнул его.

– Поди ты прочь, матушкин сынок! с чего ты взял, что я пьян? А ты, батюшка, не верь ему... Ваня... он прикидывается, будто хочет твоей дружбы... он просто хитрый мальчишка, отец мой!

– Да молчи ты, ступай спать... *Finis done, mon cher; – tu es fou!*..

– Вот видишь, Цветков, как он струсил? просит меня... Ты по-французски знаешь?

– Нет.

– Вот то-то и плохо, – грустно качнув головою, заметил упрямый Михаиле Иванович. – Значит, у тебя общественности этой... то есть этакой светскости нет, светского образования, чорт возьми! Вот тебя и надувают: и Дашеньку у вас с немцем твоим увезут пока ты здесь!

Цветков что-то почувствовал и с удивлением вытаращил глаза.

Поль в эту минуту схватил Ваню за талию, увел к себе в спальню и запер за собой дверь на задвижку.

Студент стал стучаться, но никто не отворял ему, и он заблагорассудил уснуть на диване.

Крутойров, оставшись наедине с Цветковым, начал так:

– Ты меня любишь, Ваня?

– Ужасно, – отвечал Цветков. Они обнялись.

– Слушай же, – продолжал Польш, – если ты мне друг, так дай честное слово, что завтра ты пробудешь целый день у меня... Ты слышал, что сказал этот дурак?... Он дурак набитый, этот Михайло Иваныч... Ты на его слова плюнь, душа моя...

– Я и то плюю! – отвечал Цветков, покачиваясь.

– И прекрасно... Если ты пробудешь у меня завтрашний день, я тебя возьму с собой в Петербург... Ты будешь гвардейцем... будешь ездить на балы... У меня есть там куча барышень и дам самых хорошеньких, самых знатных... ты их всех сведешь с ума, Ваня! Так останешься?...

– Останусь, Паша, останусь... провались все – останусь!..

– Так ты друг?

– Друг, Паша, друг! Они обнялись снова.

Камердинер молодого Крутоярова раздел своего барина и Ваню, уложил их в постели и, раскрыв окошки для освежения их голов, вышел.

Оба стали дремать.

– Цветков! а Цветков! – прошептал Польш, – ты любишь меня?

Ваня не отвечал, и Польш не делал больше вопросов.

Скоро молчание распространилось по Белополюю, и свежблагоуханная ночь налегла на всю окрестность – на дом, деревню и сад своею святою тишиною и глубоким мраком.

Все уснуло. Только в саду, под окном спальни, какая-то птичкаполночица жалобным и невинным голосочком чирикала от поры до времени... да так грустно и одиноко, как будто ей было смотреть горько на разврат людей, забывших простую природу...

Поздно на следующий день пробудился Цветков. Поля уже не было в комнате, и постель его была оправлена. Сначала он ничего не понял, где Ваня и зачем... В голове еще стучали вчерашние стаканы; члены были полны томления; еще мерещились виденные во сне женские формы и поцалуи различных графинь...

Он стал весело вспоминать о проведенном вечере... Вдруг его как молнией озарило... «Увезут у вас Дашеньку, затем ты и здесь!» Взволнованный различными мыслями, Цветков поспешно встал. Вошел слуга, стал одевать и сообщил ему, что те господа уехали, а что Павел Васильевич дожидается внизу чай кушать.

Он сошел.

– Здравствуй, Цветков! – сказал Поль, дружески сжимая ему руку, – как ты почивал?

– Здравствуйте... здравствуй, – отвечал Ваня, смутившись. – Очень хорошо.

– Кушай чай... Вот тебе стакан.

Цветков стал пить и, не зная с чего начать, молчал.

– Эти господа уехали, – заметил Поль.

– Да.

Опять молчание.

Поль тоже был очень заметно смущен. Он также хорошо помнил слова студента и свои собственные, но не мог никак решить, помнит ли их обманутый им юноша. Как ни смел был он от природы, как ни избалован всеобщей покорностью в доме, как ни считал себя опытным и пронырливым человеком, на основании всех похищенных им ухищрений французской литературы, однако, заметно даже для себя, начал теряться... С минуты на минуту ждал он, что Ваня объявит ему свое желание ехать в город, вознегодовав на козни против того человека, у которого жил и ел хлеб. И что ж тогда? Все его труды пропадут даром, Цветков пошлет сказать немцу; Ангст воротится, история, шум. Оно бы и хорошо, что история и шум, да ведь рядом с ними идет решительная невозможность продолжать дело... Ожидания его сбылись. Не прошло и пяти минут, как Цветков, покраснев до ушей, попросил у него лошадь.

– Надо домой, – сказал он, – я-с ведь теперь понимаю все.

– Что ты понимаешь?

– Я не понимаю зачем я здесь, а знаю, что есть какой-то обман...

Тут Цветков гордо встал.

– Если вы мне не дадите лошади, я просто уйду.

– Полно, Ваня, – начал Поль, – полно, душа моя... Мало ли что вретя в пьяном виде... (он взял руку Цветкова)... Я, ей-Богу, признаюсь тебе... Ты мне очень понравился; я от

души полюбил тебя... я, может быть, начал с тобой знакомство так только, признаюсь. Только теперь я, право, люблю тебя. Я хорошо помню свои слова вчера в спальне... я от них не отрекаюсь, душа моя... И что тебе твой немец?... Во-первых, он Дашу не любит, а мой Вильгельм безумно влюблен в нее... Разве тебе не приятно быть причиной счастья двух любящих сердец? Твой Ангст старый дурак... Он не способен ценить ни ее, ни тебя... останься!

Цветков после этих речей постиг всю историю. Он задумчиво прошелся по комнате и вдруг остановился пред Полем, полный осанки, улыбаясь и горько покачивая головой.

– Павел Васильевич! – воскликнул он, – я никогда не буду подлецом! Такой добродушнейший человек, как Федор Федорыч, наибогородный. Нет-с, я этого не потерплю! Пожалуйте лошадь, не то я уйду!

Крутояров, несмотря ни на что, был еще очень молод; на этот раз он не совладел с собой; пылкость взяла верх.

– Ну, так пошел же к чорту! – закричал он на Ваню. Убирайся к своему колбаснику пешком... Пошел, пошел! Где твоя фуражка?! Не надо!.. пошел без фуражки!

И вчерашний друг, кокетливый Поль, как бешеный лез на Цветкова. Ваня несколько оторопел, но вспомнил, что стоявший перед ним молодой человек не имеет и половины его силы, пшикнул по обыкновению и взял фуражку. Если б не воспоминание о дворне, которая могла сбежаться, он, может быть, и очень замахнулся бы на гордого богача, который

теперь так безнаказанно толкал его в спину. Стыдно, очень стыдно было ему идти пешком через барский двор и деревню, видеть какими удивленными глазами провожали его люди, слышать уканыя Поля, который, как совсем малый ребенок, выскочил на балкон и кричал ему вслед разные обидные слова.

К довершению зол и стыда на деревне повысыпали собаки, у Цветкова не было даже тросточки и он, совсем растерявшись, бросился бежать, преследуемый огромными и косматыми церберами. Встречные мужики останавливались и хохотали. Очутившись на открытом поле, он лег на траву и отдохнул. Перед ним была перспектива пяти верст пешком, под знойным солнцем...

К чести его надобно сказать, что среди всего он не забыл Федора Федоровича, и только немного поуспокоившись, продолжал путь, тяжело вздыхая. В эти минуты он был вполне достоин соболезнования и теплого сердечного участия. На половине дороги ему повстречался всадник в простом армяке, который во весь опор скакал к Белополью.

Он вез записку от Вильгельма, известие о решении Дашеньки бежать.

Цветков не обратил на него внимания.

VII

Наконец он дотащился домой.

Отворив дверь в прихожую, он услышал в столовой разговор, из которого до него долетали следующие слова:

– Das ist egoistisch!

– Да как же, мой друг?

– Это ужасно!!

– Не целуй меня, право... не целуй... кто-нибудь взойдет... Он вернется, или Цветков... уйди!

– Я и его, и дурака Цветкова из окошка выброшу...

– Вот... ей-Богу, кто-то стукнул в прихожей... Пооди, посмотри...

Ване показалось лучшим выбежать опять на крыльцо и через ворота задними дверьми войти в дом.

В задних комнатах встретил он кухарку Федора Федоровича и поспешно сделал ей несколько вопросов.

– Кто ж это в столовой, Авдотья? Авдотья очень перепугалась и пробормотала:

– В столовой?... Да кто ж там, кажется?... Дарья Николавна, должно быть... Я вот все в кухне была...

– Да ты, старая, не ври! Там с Дарьей Николавной кто-то. Вильгельм этот, что ли?

– А может быть, и он.

– Как же ты, дура, смотришь?

– А мне что смотреть! разве я мамзель за ними! Вижу пришел и сидит... Это дело господское... Я разве знаю, что надо!

Цветков поднял руку.

– Да ты, барин, не изволь драться! Ей-Богу, не дерись... Я отойду от вас! – во все горло закричала Авдотья.

На ее крик выбежала испуганная Дашенька. Цветков грозно и развязно обратился к ней:

– Вы, сударыня... Вы очень гадко и подло поступаете! Молодая девушка хотела возразить; но Цветков, не слыша Вильгельма и полагая, что он ушел, почувствовал желание выместить на ней все свои горести.

– Извольте молчать! – воскликнул он. – Вы даже просто низко поступаете!

В это мгновение дверь растворилась с шумом, и Вильгельм показался в ней, сверкая всем, чем только мог сверкать.

– Не смейте оскорблять эту девушку, – важно произнес он, скрестив на груди руки а la Napoleon.

– Какое вы имеете право здесь распоряжаться? – понижая голос, ответил Цветков.

Вильгельм двинулся вперед... Дашенька бросилась между ними и хотела увести своего милого друга из комнаты; Вильгельм отстранил ее.

– Если вы, – плавно начал он, – если вы хотели бы тиранить этого ангела, то вам нельзя будет этого... Она моя, и

вы должны молчать... Иначе шпага или пистолет решат наш спор!

И взяв за руку избранную сердца, дерптский студент вышел вон.

Ваня поспешил в свой покой и наскоро написал записку к Федору Федоровичу, дал дворнику рубль серебром с приказанием на чем бы то ни было и как бы то ни было лететь к нему. При этом обещал он ему от имени Ангста еще награду, если известие доставлено будет скоро. Потом заперся у себя и наполнил весь дом смелыми звуками гитарных струн.

Между тем Дашенька увидела, что колебаться поздно, очень просто взяла все свои вещи в узел, взяла свой ломбардный билет из стола Федора Федоровича, и еще проще сев на извозчика, уехала с Лилиенфельдом.

Неописанно было изумление Цветкова, когда он узнал о быстроте результата, не найдя нигде молодой девушки.

С трепетом ждал он Федора Федоровича. Часы длились для него ужасно.

Сапоги его как-то особенно скрипели среди гробовой тишины коричневого домика... Не было даже сил играть на гитаре!

Федор Федорович вернулся около шести часов вечера.

Он вошел спокойно; был только очень бледен и долго осматривал все углы.

Цветков, дрожа и чуть не плача, встретил его в гостиной.

– Федор Федорыч, – прошептал он, – Федор Федорыч...

я ничем не виноват... Я не был дома... Простите...

– Что с вами, Цветков? – отвечал немец, несколько трепетным голосом... – Это ничего. Где же?.. – спросил он немного погодя, как бы боясь произнести имя.

– Уж нет... Уж уехали... – был робкий ответ. После этого ответа все по-прежнему смолкло. Федор Федорович заперся у себя в кабинете, а Ваня, успокоенный смиренным и почти равнодушным (на его глаз) видом своего благодетеля, потерял большую часть своих страхов и начинал снова расти в собственном мнении.

Федор Федорович не вышел к чаю; Федор Федорович не вышел на следующее утро к завтраку, не вышел к обеду; кабинет его остался заперт изнутри и на вопросы, и на зов Цветкова он отвечал всякий раз: «не мешайте мне!»

К вечеру Ваня совсем растревожился и стал упорно стучать в дверь.

– Что вам угодно, Цветков?

Дверь отворилась, и перед ним предстал бледный немец в халате, со свечой в руке.

– Чаю вам опять не угодно?

– Нет, Цветков! А вы можете прийти ко мне сидеть и трудиться, если вам угодно.

Зная, что труда он никакого не имеет, Цветков был несколько удивлен этими словами; но, думая все-таки угодить Ангсту, взял книгу и сел у него в кабинете. Федор Федорович, повернувшись к нему спиной, начал что-то копошиться

ся около своего стола.

Так прошло около часа в совершенном молчании.

Вдруг Цветкову послышались сдержанные стоны, потом яснее, громче и наконец рыдания.

Цветков бросился к Ангсту.

– Что с вами, Федор Федорыч? Матушка, что с вами?

– Ничего, ничего, Цветков... Благодарю вас! Слезы душили его; он закрылся руками; грудь его болезненно подымалась; правая нога судорожно дрожала.

– Выпейте водицы, Федор Федорыч, голубчик, выпейте водицы, глоточек.

Цветков схватил со стола графин, налил и подал ему воды.

– Глоточек, матушка, Федор Федорыч! один, два глоточка; вот так-с.

Выпив воды, немец взял его за руку и привел еще поближе к столу. Потом достал из-под кипы разноцветных бумажек какую-то штучку, завернутую весьма тщательно в обрывок газеты. Когда он развернул газету, Ваня увидел маленький гробик; но что за гробик! Никогда еще художественная рука Ангста не производила ничего подобного.

Снаружи он был обит черным, венецианским бархатом, и хотя длиною не доходил и до четверти аршина, однако был нежно изукрашен серебряными крестами и бордюрами.

Внутри лежала белая атласная подушечка, а к ней булавкой была приколона маленькая записочка; на записке по-немецки и поспешным почерком было набросано:

«Здесь покоится в Боге душа Федора Ангста.

Он был честен.

Родился тогда-то – умер...»

Дальше, после слова «умер», было пустое место.

– Вот мой гроб, Цветков! Когда я умру, положите меня в него... Вы не бойтесь, что он мал! Душа моя стала тоже мала! Да, Цветков... а на памятнике напишите эти слова... Они имеют глубокое значение! Можно бы положить туда дочь мою Дашеньку...

Но мало место... теперь дети ужасно растут! Она ведь скоро умрет, Цветков...

Тут Ангст замолчал.

В жизнь свою Ваня не испытал такого страха... Полутемная комната, нагоревшая свеча, этот гробик и сам Федор Федорович в халате, с такую странную речью.

– Вот, – начал опять Федор Федорович... – на этом месте она мне клялась прахом отца. Я не мог, Цветков... я не мог любить другой женщины... Она была мое дитя... На руках моих, Цветков!

Он снова закрыл руками лицо.

– Благодарю вас... вы, по крайней мере, любите ее страстно... А он! я не знаю, как он! Вот ведь и она клялась отцу... Бог меня наказал... я хотел быть отцом и мужем вместе...

– Полноте, полноте, Федор Федорыч!

Но Ангст не умолкая рыдал. Ваня взял его руки, отвел их от лица и, увидев потоки слез, разразился сам горьким

плачем...

Он понял, в чем дело!

При виде плачущего Вани, немец задумался, потом при-
молвил, тихо отталкивая его от себя:

– Ступайте, Цветков... Благодарю вас, благодарю вас, что
вы выучили немецкую поэзию... но вы не можете мне быть
полезным... Вы произносите по-французски!

– Матушка, Федор Федорыч, матушка, голубчик!.. выслу-
шайте меня...

– Нет, Цветков... Благодарю вас... вы ничем... Вы любите
ее, но я все-таки... благодарю вас...

Он крепко, крепко пожал руку Цветкова, настойчиво,
несмотря на сопротивление, вывел его за дверь кабинета и
снова заперся в нем.

Он сдержал слово: не забыл услуги Цветкова и его немец-
кой поэзии.

И все содрогнулись, когда разбежалась весть, что он со-
шел с ума. Содрогнулся Вильгельм, содрогнулись легкомыс-
ленный Поль и ленивый отец его; – а Дашенька дней пять
была совершенно холодна с молодым мужем, и на страстные
объятия его отвечала слезами и отчаянными упреками са-
мой себе. Губернатор сделал, говорят, строгий выговор са-
мому Крутоярову, прямо заметив ему: «что лучше бы сынка
посечь; да и старичку не мешало бы поменьше вдаваться в
молодые и залихватские предприятия!» Помещик клялся и
оправдывался целый час; приехав же домой; сделал неслы-

ханную вещь – разбил сына страшнейшим образом, грозился услатить его на Кавказ и выгнать Вильгельма с женой из деревни, куда они удалились до приискания места в другом каком-нибудь городе. Поль все перенес очень кротко, – и молодые остались у них.